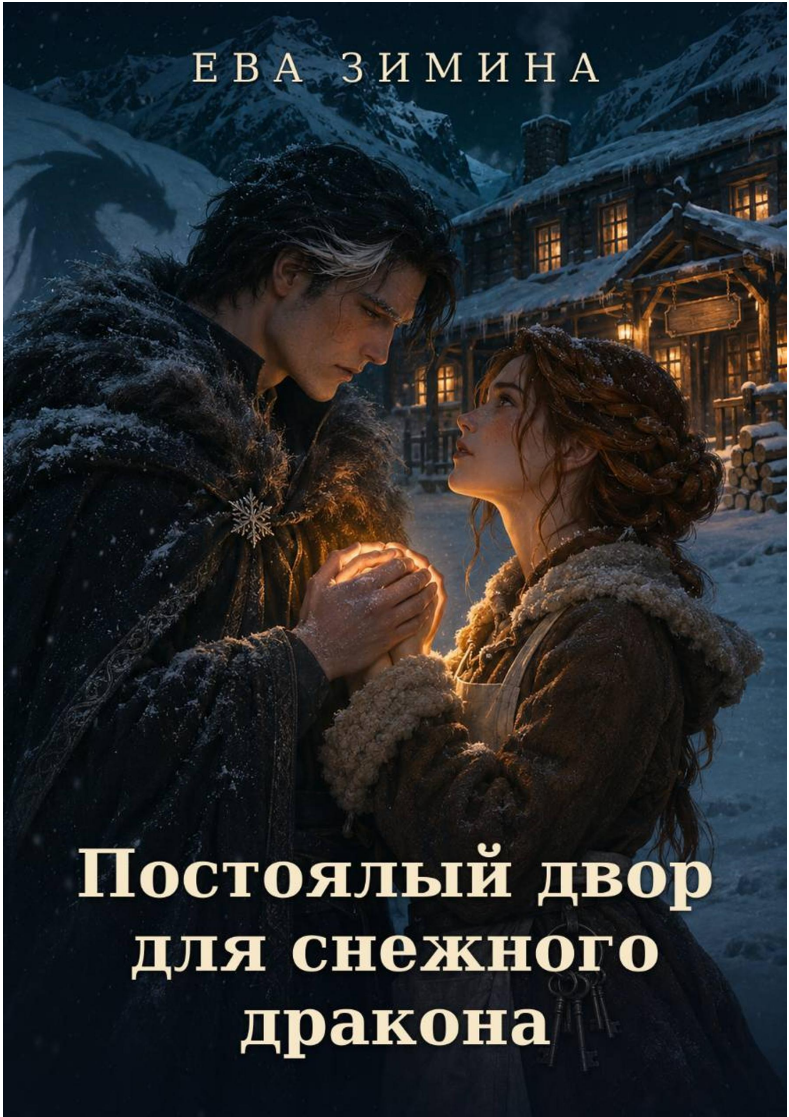

ЕВА ЗИМИНА
Постоялый двор для снежного дракона

Ева Зимина

Постоялый двор для снежного дракона

https://litres.ru/74889043
SelfPub; 2026

Аннотация

Самостоятельная история в новом мире «Тёплого берега».

Я пообещала отдать ключи от постоялого двора новому хозяину в первый день лютня. Работникам не сказала. А в последний вечер перед закрытием перевала в мои ворота въехал обоз: тридцать один замёрзший человек, одиннадцать детей и драконий командир с предписанием о постое, которое на мой двор больше не действует.

Я назвала ему цену. Он заплатил из своего кошеля. Ночью Белая щель похоронила тракт, а дров у меня оставалось на девять дней.

Ивар Хальстен умеет слушать снег, но разучился идти вторым. Снежный дракон может согреть собой только одного человека — и знает, чего это стоит его раненому крылу. А я умею считать всё на свете, кроме одного: сколько стоит то, что тебе дают просто так.

Нам надо найти дорогу через отрог, пережить ночь великого мороза и узнать, кто на самом деле вычеркнул мой двор из списка зимних станций.

Содержание

Глава 1. Последний вечер листопада 4
Глава 2. Счёт на девять дней 20
Глава 3. Левое крыло 36
Глава 4. Летняя тропа 51
Конец ознакомительного фрагмента. 54

Ева Зимина
Постоялый двор для снежного дракона

Глава 1. Последний вечер листопада

В последний вечер листопада я пересчитала поленья в дровянике и поняла, что на одну меня их хватит до весны, а на кого-нибудь ещё — нет.

Считать я начала ещё в обед, когда последний купеческий возок ушёл вверх по тракту, к Белым Воротам, и возница, обернувшись, крикнул, что завтра служба закроет перевал и что мне, хозяйка, теперь до цветеня гостей не видать. Я помахала ему рукой и пошла в дровяник. Это у меня от отца: проводил гостя — посчитай, что он тебе оставил. Гость оставил мне четыре медяка за ночлег, грязь на крыльце и пустую бочку из-под квашеной капусты. Дровяник оставил сорок два ряда берёзы и ольхи, если считать по длинной стене, и ещё одиннадцать рядов по короткой, но те были сырые, с прошлой осени, и я их в счёт не брала. Сорок два ряда — это

одна большая печь на кухне, одна малая в моей комнате и баня раз в неделю. Гостевое крыло на восемь комнат с этим не протопишь и до середины студня.

Гостевое крыло, впрочем, топить было не для кого.

Я вышла из дровяника и встала у ворот. Отсюда видно и тракт, уходящий вверх, к седловине, и долину вниз, где в сизой дымке лежала Ольховка, и два белых плеча Белого хребта, между которыми в ясный день проглядывает узкая полоса неба. Ясного дня не было: небо висело низко, мутное, тяжёлое, будто его набили мокрой шерстью, и пахло тем особенным запахом, который бывает перед первым большим снегом, — железом и холодной водой. Отец говорил, что так пахнет зима, когда вынимает нож. Отец вообще любил говорить красиво. Считать он любил меньше, потому считала я.

В кармане передника у меня лежало письмо Вилмара. Короткое, лавочное, с ошибкой в слове «задаток». Вилмар напоминал, что по нашему уговору я освобождаю двор до первого лютня, что ключи передаю ему при свидетеле, что мебель он берёт по описи, а посуду — «по совести». Я перечитывала это письмо уже раз десять и каждый раз спотыкалась на «по совести». Совести у Вилмара было как у его лавки: вывеска большая, а внутри пусто. Но задаток он заплатил честно — шестьдесят серебром, монета к монете, — и эти шестьдесят серебром уже лежали не у меня, а у кузнеца в Ольховке, у мельника и у Торы, которой я отдала из них половину её жалованья за лето. Вторую половину и два осен-

них месяца я ей была всё ещё должна. Тора об этом молчала. Тора вообще о многом молчала, что было на неё совсем не похоже.

Я сложила письмо и сунула обратно. Двор за моей спиной был тих: Ясна в гостевом крыле снимала с кроватей бельё, Милош в конюшне что-то насвистывал нашей единственной кобыле, Тора гремела на кухне. Дым из трубы шёл прямо вверх, тонкой струйкой, — к морозу. Я подумала, что надо бы вечером закрыть заслонки в пустых комнатах, чтобы не выдувало, и что завтра можно снять со стены над крыльцом старую вывеску, «Последний двор», и убрать её на чердак, раз уж двор скоро будет не мой. Подумала — и не пошла. Вывеску ещё мой дед вешал. Пусть Вилмар снимает.

Звон я услышала раньше, чем увидела сани.

Он шёл снизу, не с тракта, а с долины, со стороны рудничной дороги, — нестройный, многоголосый, будто кто-то тряс над ухом мешок с ложками. Так звенят бубенцы на дуге, когда упряжка устала и лошади идут вразнобой. Я пересчитала звуки по привычке — шесть, семь — и ещё до того, как из-за ольшаника у поворота выползли первые сани, поняла, что это обоз и что обоз этот идёт ко мне.

Их было семь. Тяжёлые рудничные сани-розвальни, крытые рогожей и холстом, по две лошади в каждых, и лошади были в мыле, несмотря на холод. На передних санях, рядом с возницей, сидела рослая светловолосая девица в форменной куртке с серебряной снежинкой на рукаве — драконья. Си-

дела она странно: обмякнув, привалившись к вознице плечом, как сидят очень пьяные или очень больные. А впереди саней, пешком, шёл человек.

Он шёл тяжело и прямо, как ходят те, кто долго шёл и не собирается это показывать, в длинном тёмном плаще, подбитом мехом, без шапки. Волосы у него были тёмные, у левого виска — седая прядь, будто туда попало снегом и не стаяло. Плащ сидел на нём криво: левое плечо было выше правого, и я не сразу поняла, что под плащом на этом плече что-то есть, какая-то тугая повязка или лубок. Он остановился у ворот, в трёх шагах от меня, и посмотрел на меня светлыми, почти прозрачными глазами, какие бывают у снежных драконов, — и я сразу поняла, кто он, ещё до того, как увидела на плаще пряжку с такой же снежинкой, только больше и с двумя лучами поперёк.

— Последний двор? — спросил он.

— Он самый, — сказала я. — Сезон закрыт.

— Ивар Хальстен, командир Второго Перевального крыла, — сказал он, будто не услышал. Голос у него был низкий и сорванный, с хрипотцой, как у человека, который весь день кричал на ветру. — Со мной обоз горнорудной компании «Медвежий Ключ». Тридцать один человек, из них одиннадцать детей. Четырнадцать лошадей. Нам нужен ночлег, тепло и место для саней. — Он вынул из-за пазухи сложенную бумагу с печатью и протянул мне. — Предписание о постое по праву Перевальной службы.

Я бумагу не взяла.

— Не действует, — сказала я.

Он моргнул. Кажется, ему давно никто не говорил, что его бумага не действует.

— Простите?

— Предписание о постое действует на зимние станции, — сказала я. — Последний двор с прошлого месяца — не станция. Нас вычеркнули из списка. По донесению какого-то командира крыла, который пролетел над нами в начале листопада, посчитал сверху мои дрова и решил, что хозяйка одна не справится. — Я сама услышала, как зло у меня это вышло, и не стала смягчать. — Так что ни постоя, ни казённой платы, ни права. Есть частный двор, и хозяйка, и хозяйка говорит: сезон закрыт.

Он смотрел на меня долго, и я видела, как он что-то складывает у себя в голове — не про меня, про сани за спиной. Потом медленно убрал бумагу.

— Я не знал, — сказал он.

— Вы и не обязаны, — сказала я. — Вы же не из Тёплой Губы списки пишете. Езжайте до Заставы, две версты вверх. У Селма Тарна сборная изба на двадцать мест, он вас пустит. За деньги.

— Был, — сказал он. — Застава закрыта. Тарн уехал к шурину в Ольховку на зиму и забил ставни. Вы — последний двор. — Он чуть повёл подбородком назад, на сани. — Буквально.

Я посмотрела мимо него.

С третьих саней, из-под откинутой рогожи, на меня смотрели дети. Трое, нет, четверо, укутанные во что попало — в материнские платки, в мужские тулупы, в одеяла, — и у всех лица были одинакового цвета, сизого, как небо над хребтом. Ближе всех сидела маленькая белобрысая девочка лет шести, в огромной шапке, сползавшей на глаза, и она не плакала, а просто смотрела на меня, на ворота, на дым из нашей трубы — так, как смотрят на еду через окно трактира. На следующих санях кто-то тоненько кашлял. Возле саней топтались взрослые: мужики в рудничных куртках, женщины с узлами, сгорбленная старуха, которую под руки поддерживали двое. Никто ничего не говорил. Все ждали, что скажет командир, а командир ждал, что скажу я.

— Почему вы их не греете? — спросила я. — Вы же дракон. Ваша — тоже. — Я кивнула на светловолосую девицу на передних санях.

Он помолчал. Потом стянул с правой руки перчатку и показал мне ладонь.

Ладонь была белая, с синевой у ногтей, и мелко дрожала. Не от холода. Так дрожат руки у человека, который несколько часов подряд держал что-то очень тяжёлое и только что отпустил.

— Сигрид переносила в сани тепло от дорожных костров с самого Медвежьего Ключа, — сказал он ровно. — Три дня. Сегодня в обед костры кончились: на рудничной доро-

ге больше нечего жечь, а дрова, что мы везли, промокли на броде. Она пыталась держать сани собой. Я её снял. Теперь держу я. — Он посмотрел на свою дрожащую ладонь так, будто она принадлежала кому-то другому. — Перенести мне нечего. Только себя. А себя на одиннадцать детей не хватит. Ни на кого не хватит, если честно.

Это было сказано так просто, что я поверила сразу. Драконы не создают тепло — это у нас знает любой ребёнок. Они его носят: из печи в комнату, из костра в сани, из нагретого камня в замёрзший котёл. Нет огня — нечего носить. А что дракон может греть собой, так про это у нас в долине говорили много, но шёпотом и всё больше девицы на посиделках: «драконы своих греют». Своих. Эти дети были ему не свои. Да и свои, наверное, не помогли бы, если на нём лица нет.

Я посмотрела на девочку в сползающей шапке. Она всё смотрела на дым.

Я подумала о сорока двух рядах берёзы и ольхи.

Потом подумала о шестидесяти серебром, которых у меня уже нет, и о Торином жалованье, и о письме Вилмара в кармане, и о том, что за десять дней тридцать один человек и четырнадцать лошадей съедят и сожгут всё, что я рассчитывала растянуть до весны.

И подумала, что, если я их сейчас не пущу, я буду помнить эту шапку до конца жизни. А помнить такое — дороже любых дров.

— Сорок серебром, — сказала я.

Он поднял на меня глаза.

— За десять дней, — сказала я. — Ночлег, горячее два раза в день, хлеб, сено лошадям, баня раз в три дня. Половина вперёд, сейчас. Вторая — когда уйдёте. Если уйдёте раньше — пересчитаю честно, по дням. Если позже — по четыре медяка с человека в день сверху. Дрова — моими не протопить, значит, ваши люди колют сырые с короткой стены и возят валежник из ольшаника, каждый день, пока здесь стоят. На кухне распоряжаюсь я и моя повариха. Дракон к кухонной печи без спроса не подходит: не хватало мне, чтобы вы оттуда перетащили жар в свои сани, а у меня хлеб сел. Комнаты распределяю я. Детей — ближе к печи. Согласны?

Он молчал так долго, что я уже решила: сейчас скажет про реквизицию ещё раз, громче. Потом он кивнул — один раз, коротко, по-военному.

— Согласен.

— И ещё, — сказала я. — Платит кто? Компания?

— Компания должна была выслать задаток на береговой пост. — Он полез под плащ, к поясу, левой рукой, неловко, и вынул кошель. — До поста мы не дошли. Плачу я.

Он отсчитал двадцать серебрушек мне в ладонь — сам, не глядя, — и я заметила, что кошель после этого стал почти плоским. Я не стала ничего говорить. Деньги есть деньги, а его кошель — его забота. Но я запомнила.

— Милош! — крикнула я через плечо. — Ворота настежь! Лошадей — под навес, сено из нижнего стога! Ясна, все кро-

вати обратно, в каждую комнату по два одеяла, и грелки с кухни! Тора! — Тора уже стояла на крыльце, вытирая руки о фартук, и смотрела на сани с выражением человека, который всё понял раньше всех. — Тора, большой котёл. Всё, что есть. И хлеб — сегодняшний весь.

— Весь, — повторила Тора без выражения.

— Весь, — сказала я.

Тора развернулась и ушла в кухню, и через полминуты оттуда донёсся грохот котла о плиту, такой, что, наверное, было слышно в Ольховке. Это у Торы означало «да».

Дальше было, как всегда бывает, когда в пустой дом разом входит много замёрзших людей. Шум, топот, запах мокрой шерсти, и все говорят одновременно, и никто никого не слышит. Я стояла посреди большой горницы и раздавала комнаты, как раздают карты: семьи с малыми — в две угловые у печной стены, там, где кухонная печь греет кирпичом; старуху Марфу с невесткой — в мою бывшую детскую, над кухней, там теплее всего; возниц — в общую, на нары; одиноких мужиков — в дальние, и пусть не жалуются. Мне называли имена, я их запоминала: Хельга, вдова, с дочкой Нютой — той самой, в шапке; Аксель с женой и годовалым; Тимофей, старший возница, седой и ворчливый, сразу спросил, где у меня можно разуться, а то «ноги как не свои». Обозный старшина, Эрик, крупный человек с рыжей бородой и беспокойными глазами, спросил, нельзя ли сани поставить не под навес, а в сарай, под замок.

— В сарае у меня сено, — сказала я. — Под навесом крыша есть. Что у вас там такое, что под замок?

— Компанейский груз, — сказал он. — Рудные пробы, приборы. Отчётный.

— Пробы не украдут, — сказала я. — Кому они тут нужны. Под навес.

Он хотел возразить, но тут в горницу внесли светловолосую девицу, и все расступились.

Её внесли двое возниц, а командир шёл рядом и держал её за руку. Девица была без сознания — не совсем, веки у неё дрожали, — и лицо у неё было белое, а губы синие, как у человека, который долго пролежал в снегу. Я сразу сказала: в мою комнату, на мою кровать. Моя комната за кухней, у неё общая стена с печью, это самое тёплое место во всём доме. Её уложили. Я накрыла её своей периной и пошла к двери, чтобы принести горячего, и в дверях столкнулась с командиром.

— Кто она вам? — спросила я.

— Сигрид. Младший дракон крыла, — сказал он. — Ей двадцать два. Она три дня держала сани.

— Сколько ей надо?

— Тепла. Еды. Сна. — Он помолчал. — Обычно сутки. Если перебрала — двое-трое.

— Перебрала, — сказала я. — У неё губы как у утопленницы.

— Знаю.

Он стоял в моих дверях и смотрел на Сигрид, и лицо у него было такое, будто это он, а не она, три дня держал сани. Я вдруг заметила, что он сам белый, как стена, и что правая его рука, которую он прятал в рукав, всё ещё дрожит.

— Вы когда ели? — спросила я.

— Неважно.

— Мне важно, — сказала я. — Вы мне заплатили за горячее. Если вы свалитесь у меня в сенях, мне придётся кормить вас с ложки, а это в договор не входит.

Он посмотрел на меня. Не сердито — скорее удивлённо, как смотрят на собаку, которая вдруг заговорила.

— Сначала люди, — сказал он.

— Сначала дети, — поправила я. — Потом женщины, потом возницы, они правили весь день. Потом мужики. Потом мои работники. Потом вы. Потом я. Это у меня на кухне так заведено. Хотите есть раньше меня — вставайте в очередь за Тимофеем.

Мне показалось, что у него дёрнулся угол рта. Но это могло мне и показаться: свет в сенях был плохой.

Тора сварила в большом котле всё, что было: перловку с салом, луком и сушёными грибами, густую, как раствор у печника. Ясна резала хлеб. Милош таскал из погреба квашеную капусту. Я стояла у котла с половником и раздавала, как обещала: сначала детям, в глиняные миски, с горкой, и каждому — по куску хлеба с маслом сверху, хотя масло было на счету. Нюта, белобрысая, ела сосредоточенно, как работают,

и ни разу не подняла глаз от миски, пока не показалось дно. Потом подняла и посмотрела на меня.

— Ещё можно? — спросила она.

— Можно, — сказала я. — Сегодня — можно.

Потом женщины. Потом возницы. Эрик пытался встать раньше Тимофея, и Тимофей, не поворачивая головы, сказал ему: «Куда, старшина, ты не правил», — и Эрик отступил. Потом мужики. Командир стоял у стены, в стороне, со скрещёнными на груди руками — правая поверх левой, левой он почти не шевелил, — и смотрел, как я раздаю. Не так, как смотрят голодные. Так, как смотрят на чужой порядок, решая, годится он или нет.

Когда очередь кончилась, в котле оставалось на донышке. Я выскребла половником остатки в одну миску, полную, сунула туда последний ломоть хлеба и протянула ему.

— Ваша.

— А вы?

— А я хозяйка, — сказала я. — Хозяйки едят на кухне, когда всё убрано. Это тоже у меня так заведено.

Он взял миску. Постоял. Потом сказал:

— У нас в крыле командир ест последним.

— Значит, вы опоздали, — сказала я. — Последней здесь ем я. Ешьте, командир, пока горячее. Сигрид ваша проснётся — ей тоже понадобится, а Тора больше варить не будет до утра, у неё правило.

Он сел на лавку у стены и стал есть. Медленно, не жадно,

по-военному, как едят люди, которые знают, что будет ещё долгая дорога. Правой рукой. Левая лежала на колене, под плащом, неподвижная.

Я пошла на кухню. Тора мыла котёл с таким видом, будто котёл был лично перед ней виноват.

— Сорок серебром, — сказала она, не оборачиваясь.

— Слышала?

— Весь двор слышал. Ты кричала на него у ворот так, что у Ясны бельё из рук выпало. — Тора с грохотом поставила котёл на лавку. — Сорок серебром за десять дней на тридцать одну душу. Это даже не в убыток. Это так — чтобы не помереть.

— Знаю.

— А дрова?

— Его люди будут колоть сырые. И валежник.

— Сырыми ты гостевое крыло не протопишь.

— Знаю, Тора.

Она обернулась и посмотрела на меня. Глаза у неё были красные — от пара, наверное.

— А весной что? — спросила она. — Весной, Рада, что будет с двором?

Я не ответила. Я взяла с полки кусок хлеба, отломила горбушку и стала жевать, стоя у окна, потому что сидеть мне сейчас было нельзя: сяду — не встану до утра. За окном, во дворе, Милош водил под навес последних лошадей. Сани стояли рядом, тесно, рогожа на них заиндевела. Двое мужи-

ков из обоза что-то делали у задних саней, и я видела, что сани эти осели в снег глубже других, почти по самые копылья. Тяжёлые. Пробы, приборы. Я подумала, что если там приборы, то, видно, чугунные.

Пришёл командир с пустой миской. Остановился в дверях кухни — не вошёл, как я и велела.

— Спасибо, — сказал он.

— Миску на лавку, — сказала я. — Тора помоет.

— Я сам.

— На лавку, командир.

Он поставил миску на лавку у двери. Посмотрел на меня — на хлеб у меня в руке.

— Это ваш ужин?

— Это мой ужин.

— Горбушка?

— Я люблю горбушки, — сказала я. Это была неправда, но не его дело.

Он помолчал. Потом спросил то, чего я от него не ждала:

— Тот командир крыла. Который вас вычеркнул. Вы знаете его имя?

— Нет, — сказала я. — Мне прислали выписку из Тёплой Губы. «По донесению командира крыла, производившего облёт перевального участка». Без имени. Они там в Губе имён не пишут, когда дело касается таких, как я. Да и зачем мне его имя? Он ведь, наверное, правду написал. Дров у меня в листопаде и вправду было мало. И хозяйка одна. Всё

правда. Правду сверху хорошо видно.

Он ничего не сказал. Только смотрел на меня тем же прозрачным взглядом, и я никак не могла понять, о чём он думает. Потом кивнул и ушёл.

Я доела горбушку. Помогла Торе с котлом. Обошла все комнаты — в каждой проверила заслонки, кровати, одеяла. В угловой Хельга уже спала, обняв Нюту, а Нюта не спала и смотрела на меня из-под одеяла тёмными глазами. Я поправила ей одеяло и шепнула: «Спи». Она закрыла глаза. В общей храпели возницы. В моей комнате, на моей кровати, спала Сигрид. Губы у неё порозовели. Рядом, на табурете, сидел командир, прислонившись спиной к тёплой стене, и тоже спал — сидя, с открытым ртом, свесив здоровую руку между колен. Я хотела его разбудить и отправить в комнату, которую ему отвела, — дальнюю, у лестницы, на одного. Постояла в дверях. Не стала.

Сама я легла на кухне, на лавке у печи, как ложилась в детстве, когда отец принимал большие обозы и в доме не оставалось ни одной свободной кровати. Тора ушла к себе. Печь потрескивала. За окном было темно и тихо, и пахло снегом так густо, что, казалось, его можно было резать ножом.

Я лежала и считала. Сорок два ряда, минус то, что сожгли сегодня, — значит, сорок. Тридцать один едок и четверо своих. Мука — четыре мешка, крупа — три, сало — полбочки, капуста — две бочки, картошка — в погребе, если не померзла. Двадцать серебром в кармане, из них шесть отдать

Торе, если она возьмёт. Десять дней. Потом обоз уйдёт за перевал, и всё, что останется, я посчитаю ещё раз и отдам Вилмару по описи. А посуду — по совести.

Я уже почти заснула, когда его услышала.

Сначала — будто издалека прошёл тяжёлый воз по мосту. Потом звук стал ниже и глуше, и мне показалось, что задрожала лавка подо мной, а за ней печь, а за печью весь дом. Потом в шкафу звякнули миски. Потом всё стихло — так тихо, что было слышно, как за стеной у себя заворочалась Тора.

Я села.

Я знала этот звук. Его в нашей долине знает каждый. Раз в несколько зим его слышно по ночам — и после него утром на тракте стоят люди с лопатами, а потом приходит человек от службы и вешает у Заставы на столб доску с надписью.

Белая щель.

Дверь моей комнаты открылась. Командир стоял на пороге, проснувшийся, с лицом человека, который этот звук знает лучше, чем я, — и знает, что он значит для тридцати одного человека, семи саней и одиннадцати детей.

Мы посмотрели друг на друга через тёмную кухню.

— Это Белая щель, — сказала я. — Над трактом.

— Да, — сказал он.

— Значит, до утра никуда.

— До утра, — сказал он, — это если повезёт.

Он вернулся к Сигрид. Я снова легла и стала считать заново, и на этот раз считала уже не на десять дней.

Глава 2. Счёт на девять дней

Утром я нашла его у ворот.

Было ещё темно, только над хребтом сереело узкой полосой, и снег, выпавший за ночь, лежал во дворе ровно, нетронуто, по щиколотку, — как скатерть, которую никто ещё не успел закапать. Нетронуто, если не считать одной цепочки следов: от крыльца к воротам. Он стоял там, в своём плаще, без шапки, и смотрел вверх, на тракт. Седая прядь у виска была того же цвета, что и снег, и я подумала, что если бы не тёмные волосы вокруг, её было бы и не разглядеть.

— Доброе утро, — сказала я. — Вы спали?

— Немного.

— На табурете.

— Мне хватает, — сказал он, не оборачиваясь. — Сигрид проснулась ночью, попросила пить. Я дал. Она опять уснула. Губы розовые.

— Я видела, — сказала я. — Я к ней заходила.

Он наконец обернулся.

— Вы не спали тоже.

— Я считала, — сказала я. — Это почти одно и то же. Пойдёте смотреть?

Он кивнул. Я крикнула Милоша, тот выскочил из конюшни с вилами в руках и с соломой в волосах, и мы пошли втро-

ём вверх по тракту, а за нами, кряхтя и ругаясь на снег, увязался старший возница Тимофей — «посмотреть, куда это меня завезли».

Идти было недалеко. Тракт от моего двора поднимается вверх полого, вдоль ручья, сначала через ольшаник, потом через старый ельник, потом выходит на открытый склон, где летом пасут коров из Ольховки, а над этим склоном, высоко, между двумя скальными рёбрами, тянется узкий светлый жёлоб — Белая щель. Летом по ней бежит ручей и цветёт какая-то мелкая белая трава, от которой и название. Зимой туда набивается снег, и раз в несколько лет, когда его набьётся слишком много, он уходит вниз. Весь сразу.

Мы вышли из ельника, и Милош сказал: «Ох».

Тракта не было. Там, где вчера ещё шла широкая наезженная дорога с вешками по обочине, теперь лежал белый вал, вышиной в два, а местами в три человеческих роста, грязно-серый на изломе, с торчащими из него обломками елей, как кости из пирога. Вал тянулся поперёк склона, от одного края леса до другого, шагов на триста, а вверх уходил широким языком, до самой щели. Ни вешек, ни дороги, ни столба с доской, на которой служба пишет, открыт перевал или закрыт. Ничего.

— Вот те и закрыли, — сказал Тимофей и сплюнул. — Без нас.

Командир ничего не сказал. Он подошёл к самому краю вала, туда, где снег был ещё рыхлый, присел на корточки и

положил на него правую ладонь. Без перчатки. Так кладут руку на бок больной лошади, чтобы послушать, как она дышит.

Я про это слышала, но видела впервые. Снежные драконы слышат снег. Отец говорил, что они чувствуют в нём слои, как мы чувствуем под ногой гнилую доску, — где плотно, где пусто, где одно лежит на другом и вот-вот поедет. Отец много чего говорил про драконов. Половину, я думаю, придумывал.

Командир сидел так долго, что Милош начал переминаться. Потом встал, отряхнул ладонь о плащ.

— Тяжёлый, — сказал он. — Внизу смёрзся. Сверху ещё рыхлый, и в щели осталось столько же, сколько сошло. Если начать копать снизу, верх может пойти следом. Копать нельзя. — Он посмотрел на меня. — Служба копать не будет. Не зимой и не здесь.

— Я знаю, — сказала я. — Мой отец видел, как здесь копали двадцать лет назад. Пятеро копали. Вернулись трое.

— Значит, вы понимаете.

— Понимаю, — сказала я. — Тракт закрыт до весны. — И, раз уж мы заговорили прямо, договорила: — А до весны мне вас не прокормить, командир. Ни вас, ни ваших лошадей. Я вчера взяла с вас за десять дней, потому что думала: десять дней — и вы за перевалом. Через десять дней у меня кончится мука. Через двенадцать — дрова. Если вы рассчитываете зимовать, вам надо вниз, в Ольховку. Там сорок

дворов, кто-нибудь пустит.

— В Ольховку обоз не пойдёт, — сказал он. — Им надо к морю. В Ольховке у них нет ни родни, ни работы, а у компании там нет денег, чтобы их кормить до весны. На береговом посту за перевалом — склады, задаток и баржи на Тёплую Губу.

— Тогда вам надо за перевал. А перевала нет.

— Перевала нет, — согласился он.

Мы стояли и смотрели на вал. С вала тянуло холодом, как из погреба. Где-то вверху, в щели, что-то тихо стронулось и прошуршало — так шуршит песок в часах — и замерло. Милош попятился.

— Пошли отсюда, — сказал Тимофей. — Нечего тут стоять. Оно, слышь, ещё не всё сошло.

Мы пошли обратно. Командир шёл молча и смотрел себе под ноги, а у самых ворот вдруг спросил:

— Есть другой путь?

— Летом есть, — сказала я. — Пастушья тропа. Через Студёное, вверх по пастбищам и через Сосновый отрог. Козы ходят. И люди с козами. Зимой там никто не ходит — под отрогом Долгий жёлоб, он хуже Белой щели.

— Вы ходили?

— Летом, — сказала я. — Девчонкой, с отцом. До Козьего приюта — это избушка пастушья, на полпути. Дальше — нет.

Он кивнул и больше ничего не спросил. Но я видела, что он запомнил.

Дома уже не спали. Из трубы валил дым, на кухне гремела Тора, в горнице на лавках сидели люди и пили кипяток с хлебом, и по лицам я сразу поняла, что Тимофей нас обогнал и всё уже рассказал. Тишина стояла такая, какая бывает в доме, где кто-то болеет.

Командир вошёл и встал посередине. Никто не сказал ему ни слова, но все повернулись к нему разом, как поворачиваются подсолнухи.

— Тракт под Белой щелью закрыт до весны, — сказал он. — Сошла лавина. Копать нельзя. Мы остаёмся здесь, пока не найдём другой путь. Я его ищу. — Он обвёл всех взглядом. — Теперь порядок. Возницы — к лошадям, проверить копыта и упряжь, с саней всё мокрое снять и сушить. Мужики — в две смены на дрова: сырые колоть, валежник возить из ольшаника. Женщины — по комнатам. Детей из угловых не выпускать, там тепло. Вторую и третью дальние комнаты топить. Аксель, на тебе вода из колодца. Эрик…

— Простите, — сказала я.

Он замолчал. Все посмотрели на меня.

— Дальние комнаты топить не будем, — сказала я. — Ни вторую, ни третью. И вообще никакие, кроме угловых, общей и моей. Мужики, которые там ночевали, переберутся в общую на нары. Будет тесно. Зато будет тепло. Женщины по комнатам не пойдут — им надо на кухню, к Торе, по очереди, потому что тридцать пять человек одна Тора не накормит. Детей из угловых выпускать можно и нужно, — только

в горницу и на кухню, а не во двор. Воду носить будет мой Милош: он знает, где у колодца лёд, а ваш Аксель не знает и сломает ногу. Ваш Аксель пусть лучше колет. — Я перевела дух. — Своих людей вы ставьте, куда хотите, командир. Лошадей, сани, дрова — это ваше. А дом — мой. На дворе распоряжается хозяйка.

Стало очень тихо. Аксель, молодой горняк с упрямым подбородком, хмыкнул. Тимофей, наоборот, ухмыльнулся в бороду и посмотрел на командира с интересом: что скажет.

Командир стоял и смотрел на меня. Лицо у него не изменилось, но мне показалось, что вокруг него на миг похолодало, как бывает у печи, когда открывают дверь в сени. Я про это тоже слышала: рассерженный снежный дракон тянет из воздуха тепло, сам того не замечая.

Потом он кивнул.

— Дом — ваш, — сказал он. — Вы слышали хозяйку. Мужики — в общую. Женщины — на кухню, по очереди, как скажет повариха. — Он помолчал. — Аксель, на дрова.

Аксель открыл рот, закрыл и пошёл за топором.

Люди зашевелились, загремели, задвигались, и через минуту в горнице было уже не тихо, а шумно — по-рабочему шумно, как бывает, когда всем есть дело. Я пошла на кухню. В дверях оглянулась. Командир стоял там же, посреди горницы, и смотрел мне вслед. Не сердито. Как смотрят на человека, которого не поняли с первого раза и собираются понять со второго.

Тора, когда я вошла, резала лук и плакала. Я знала, что от лука, но всё равно спросила:

— Ты чего?

— Ничего, — сказала Тора. — Ты на него при всех.

— Он на мой дом при всех.

— Он дракон, Рада. Командир.

— А я хозяйка, — сказала я. — Дракон он у себя в крыле. Пойдём считать.

Мы пошли в кладовую. Я считаю всегда вслух, когда считаю с Торой, потому что Тора считает иначе, чем я. Я — мешками и рядами, Тора — днями и ртами, и если сложить, выходит правда.

Мука: четыре мешка. Тридцать пять ртов, если печь хлеб каждый день, — мешок на три дня. Двенадцать дней. Если печь через день и добавлять в тесто картошку, как делала Торина бабка в неурожай, — шестнадцать. Крупа: три мешка, перловка и пшено. Это суп и каша, по разу в день — на десять. Сало: полбочки. Если резать тонко — на две недели. Капуста — сколько угодно, капусты я наквасила, как дура, на целый полк, думала продать в Ольховку. Картошку мы проверили с фонарём: верхний ряд в погребе померз, остальное цело. Масло — на три дня, если детям. Мёд — две кадушки. Молоко — от единственной кобылы не надоишь, а коровы у меня нет с прошлого года. Сено для четырнадцати чужих лошадей и одной своей — нижний стог и половина верхнего. На неделю, если не жалеть. На две — если жалеть.

— А дрова? — спросила Тора.

— Сорок рядов сухих, — сказала я. — Если топить одну кухонную, малую мою и две угловые и общую — по три ряда в день. Тринадцать дней. Сырые — одиннадцать рядов, но они не горят, а тлеют, их надо мешать с сухими, — плюс два дня. Валежник — сколько натаскают. Значит, пятнадцать. Если ударит мороз — девять. Если ударит большой мороз, как в тот год, когда умер отец, — неделя.

— Девять, — сказала Тора. — Считай на девять. В студне всегда бьёт.

Я кивнула. Мы стояли в холодной кладовой, среди мешков и бочек, и дышали паром.

— Рада, — сказала Тора и посмотрела на меня. — А потом?

— Потом посмотрим.

— Ты всё «посмотрим» да «посмотрим», — сказала Тора. — С листопада. С того дня, как бумага из Губы пришла. Я ж не слепая.

— Тора, — сказала я. — Не сейчас.

Она помолчала, поджав губы. Потом взяла из бочки вилок капусты, стукнула его о край, как стучат по голове непутёвых детей, и пошла на кухню.

День пошёл.

Во дворе стучали топоры. Мужики из обоза кололи сырую ольху с короткой стены, и чурбаки шипели и пускали сок, когда по ним били. Командир стоял у дровяника и распоря-

жался: кто колет, кто складывает, кто возит. Сам он не колол. Я заметила это и не стала ничего говорить. Возницы под навесом чистили лошадей, Милош таскал воду, Ясна гоняла по горнице детей, которые от тепла и сытости ожили и теперь носились, как воробьи. Женщины по очереди приходили на кухню и чистили картошку, и через час Тора уже кричала на них так же, как на меня и Ясну, — а это значило, что Тора их приняла.

К полудню проснулась Сигрид.

Я услышала её раньше, чем увидела: из моей комнаты донёсся звонкий, сиплый со сна голос, который спрашивал, где она, где командир и почему так хорошо пахнет. Я пошла к ней с кружкой горячего молока — последнего, вчерашнего, из Ольховки. Сигрид сидела в моей кровати, закутанная в мою перину до подбородка, светлые волосы торчали в разные стороны, а у неё в ногах, на краешке кровати, сидела Нюта в своей огромной шапке и смотрела на неё, как смотрят на диковинку на ярмарке.

— Ты дракон? — спрашивала Нюта.

— Дракон, — говорила Сигрид.

— А почему ты не большая?

— Потому что я сейчас человек. А когда я дракон, я большая. Вот такая. — Сигрид высунула из-под перины руку и показала до потолка. — Даже больше.

— А почему ты тогда вчера была синяя?

Сигрид подумала.

— Потому что я вчера отдала очень много тепла, — сказала она серьёзно. — Вам в сани. Когда дракон отдаёт много тепла, он сам становится синий. Как ты, когда долго сидишь в снегу.

— А сейчас ты опять тёплая?

— Сейчас опять. — Сигрид увидела меня и обрадовалась так, будто мы были знакомы сто лет. — Вы хозяйка? Мне командир сказал вчера, когда я на минутку проснулась, что хозяйка тут — гроза. Это вы гроза?

— Я, — сказала я. — Пей молоко.

Она взяла кружку обеими руками и выпила одним духом. Потом спросила, нет ли у меня мёда, потому что после большой отдачи драконам хочется сладкого «прямо до смерти». Я сказала, что мёд есть, но он для детей. Сигрид вздохнула так горестно, что Нюта слезла с кровати, сбегала на кухню и вернулась с ложкой мёда, которую ей, как я потом узнала, дала Тора. Сигрид съела мёд, облизала ложку и сказала Нюте, что, когда наберётся сил, покатает её на спине над двором. Нюта завизжала. Я сказала, что никто ни на ком над моим двором кататься не будет. Обе посмотрели на меня одинаково: как на грозу.

После обеда ко мне на кухню, в дверь — не дальше двери — пришёл Аксель.

— Хозяйка, — сказал он хмуро. — Можно спросить?

— Спрашивай.

— Мы вам заплатили сорок серебром.

— Двадцать, — поправила я. — Ещё двадцать — когда уйдёте.

— Командир заплатил, — сказал Аксель. — Из своих. Это мы знаем. Но вот что я не пойму. Служба нас должна была вести до поста. Служба нас не довела. Почему мы теперь платим, а не служба? Почему у вас тут не казённый постой? Мне жена говорит: у нас в Медвежьем все знали, что на перевале казённые дворы, там обоз кормят за счёт службы.

— Мой двор не казённый, — сказала я. — С этого листопада.

— А почему?

— А это ты спроси у командира, — сказала я. — Он в службе. Пусть он тебе объяснит, почему служба вычёркивает дворы, а потом приводит к ним обозы.

Я сказала это громче, чем следовало. Аксель посмотрел на меня, потом через плечо — во двор, где у дровяника стоял командир. И я увидела, что командир слышал. Он стоял к нам вполоборота, и голова у него была чуть наклонена, как у человека, который прислушивается. Потом он отвернулся и сказал что-то возницам, и Аксель ушёл, а я осталась у плиты, злая на себя.

Злая, потому что он был не виноват. Мало ли командиров крыла в службе. Мало ли кто летает над перевалом в листопаде. И даже если бы это был он — он написал правду. Я ведь сама так сказала вчера: правду сверху хорошо видно.

Только почему-то от этой правды было обидно до сих пор.

Вечером мы ужинали, как вчера, по моему порядку. Дети, женщины, возницы, мужики, мои работники. Командир опять стоял у стены, дожидаясь своей очереди, и опять получил свою миску после Милоша. Сигрид ела в моей комнате, в постели, и съела две миски. Хельга, мать Нюты, вызвалась мыть посуду, и Тора ей позволила, а это у Торы случается не со всякой женщиной и не в первый день.

Когда все разошлись, я осталась на кухне одна. Убрала со стола, протёрла лавки, поставила на утро тесто — в половину муки картошки, как решили. Потом отрезала себе хлеба, взяла с плиты кружку кипятка и встала у окна, потому что так мне удобнее думать, а думать мне было о чём. Девять дней. Пастушья тропа. Козий приют. Долгий жёлоб. Вилмар. Тора с её «а потом».

— Вы всегда едите стоя?

Я обернулась. Он стоял в дверях кухни — снова не дальше двери, как я велела вчера. В руке у него была миска. С кашей, полной, горячей, и сверху лежал ломоть хлеба, а на нём — тонкий, как бумага, кусок сала.

— Тора сказала, что после ужина не варит, — сказал он. — Это я понял. Но она не сказала, что не разогревает. Я попросил. Она разогрела. — Он помолчал. — Она сказала, что вы с утра ничего не ели, кроме горбушки. И вчера — тоже горбушку.

— Тора много говорит, — сказала я.

— Тора сказала мне очень мало, — сказал он. — Только

это. И ещё то, что если я вас заставлю сесть, она мне простит, что я дракон.

Я не выдержала и засмеялась. Это было похоже на Тору.

— Можно войти? — спросил он.

— В кухню?

— В кухню. Я к печи не подойду. Слово.

Я подумала.

— Входите.

Он вошёл, поставил миску на стол, потом взял из угла табурет — тот, на котором Тора чистит рыбу, — подвинул его к столу и сказал:

— Сядьте.

Это прозвучало как приказ. Это и был приказ: у него, кажется, по-другому и не выходило. Но в том, как он стоял рядом с табуретом и ждал, ничего приказного не было. Я ещё подумала: как мальчишка, который принёс девчонке на ярмарке пряник и не знает, что с ним делать дальше.

Я села. Он сел напротив, на лавку, и положил на стол правую руку. Левая, как и днём, лежала на колене, под плащом.

Я ела. Каша была вкусная — Тора добавила туда жареного лука, которого у нас было мало, и я поняла, что это она мне. Он молчал, смотрел в окно, на тёмный двор, и я не чувствовала, что он смотрит на меня, хотя, конечно, он смотрел.

— Как вы это делаете? — спросил он наконец.

— Что?

— Считаете. Я слышал вас утром в кладовой. Вы с по-

варихой за четверть часа сосчитали, сколько дней этот дом продержит тридцать пять человек. До дня.

— До дня — нельзя, — сказала я. — Погода. Мороз ударит — всё полетит. А так — привычка. Отец был хозяин весёлый, а считать не любил. Он говорил, что двор — это не счёт, а песня. Пел он хорошо. А долги после него остались как после хора. Я их три года раздавала. Вот и научилась.

— Он умер давно?

— Четыре года.

— А мать?

— Раньше. Я её почти не помню.

Он кивнул. Помолчал.

— А как вы? — спросила я. — Как вы это делаете? Снег. Утром, у вала. Вы его слушали.

Он посмотрел на свою правую ладонь, будто там было написано.

— Это не слух, — сказал он. — Это скорее… как если в темноте идёшь по дому, который знаешь. Не видишь, но знаешь, где стол, где ступенька. Снег складывается слоями. Каждый слой — своя погода, свой день. Один плотный, другой рыхлый. Один держит, другой нет. Когда кладёшь руку, они отзываются. Плотные — холодом, ровным. Пустые — будто сквозняком изнутри. Чем ближе стоишь, тем лучше. Лучше всего — пешком, рукой к насту.

— А сверху?

Он замолчал, и я поняла, что спросила что-то не то.

— Сверху хуже, — сказал он после паузы. — Сверху видишь всё и ничего не слышишь. Это… обманывает.

Он сказал это так, что я не стала спрашивать дальше. Есть у людей места, куда не лезут даже хозяйки. Я доела кашу и вытерла миску хлебом, как отец учил.

— Спасибо, — сказала я.

— Это Тора.

— Это вы попросили.

Он чуть пожал правым плечом.

— У нас в крыле говорят, — сказал он, — что командир, который не знает, ел ли его квартирмейстер, плохой командир.

— Я вам не квартирмейстер, — сказала я.

— Нет, — согласился он. — Вы хуже. Вы хозяйка.

И вот тут я окончательно поняла, что вчера в сенях мне не показалось: угол рта у него действительно дёргается, когда он хочет улыбнуться и не позволяет себе.

Он встал, взял пустую миску — сам, хотя я сказала «на лавку», — и пошёл к двери. На пороге остановился.

— Рада, — сказал он. Он в первый раз назвал меня по имени, и я даже не помню, чтобы говорила ему, как меня зовут. Наверное, Тора. — Пастушья тропа. Вы можете нарисовать её? Всё, что помните. До избушки и дальше, если что-то есть.

— Могу, — сказала я. — Утром.

— Утром, — согласился он. — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, командир.

— Ивар, — сказал он, уже за дверью, из тёмных сеней. — Командиром меня зовут мои люди. Вы — не мои люди.

Я сидела на Торином табурете, глядя на закрытую дверь, и думала, что мне, наверное, надо было ответить. Что-нибудь острое, чтобы последнее слово осталось за мной. Ничего острого я не придумала.

Вместо этого я ещё раз пересчитала в уме мешки с мукой. Сколько ни считай, выходило девять дней.

Глава 3. Левое крыло

Тропу я нарисовала на кухонном столе.

Бумаги у меня было мало, и вся она шла на счета, а кухонный стол Тора скоблит ножом каждую субботу, так что он белый, как ладонь. Я взяла из печи уголёк и стала рисовать прямо по дереву. Тора посмотрела, поджала губы и ничего не сказала, но поставила рядом миску с мукой — для снега. Тора всегда понимает раньше, чем я успеваю попросить.

Ивар пришёл, когда рассвело. Остановился в дверях. Я сказала: «Входите», — и он вошёл и встал у стола, не касаясь его, будто стол был карта в штабе, а он — гость на чужом совете.

— Вот мой двор, — сказала я и поставила угольком точку у края. — Вот тракт, вверх. Вот Белая щель, где вал. А вот сюда, на запад, через ручей — Студёное. Хутор. Три двора. Там живут лесорубы и охотник, Кай. От Студёного тропа идёт вверх по пастбищам. — Я повела углём. — Сначала Нижний луг. Он пологий, там летом косят. Потом ельник, потом Верхний луг, круче. На Верхнем лугу три больших камня, мы их звали Три брата. От братьев тропа поворачивает вправо, вдоль ручья, и выходит к Козьему приюту. Это избушка. Сруб, печка, нары на шестерых, навес для коз. До приюта от Студёного летом — полдня ходу налегке. С коза-

ми — день.

— А дальше?

— Дальше — Сосновый отрог. — Я посыпала мукой широкое место над избушкой. — Это плечо горы, лесистое, с вашей стороны пологое, а на ту сторону круто. Тропа идёт по нему наискосок, траверсом, вот так. Там узко, на одну козу. Справа вверх — лес, слева вниз — Долгий жёлоб. — Я провела углём длинную черту вниз от тропы. — Жёлоб — это как Белая щель, только длиннее и шире. Летом в нём камни. Зимой — снег. Зимой туда не ходят. Если перейти отрог, дальше тропа спускается на ту сторону, к морю, через сосняк, к Сосновке. Это уже не наша долина. Я там не была. Отец был. Говорил, что от приюта до Сосновки — ещё полдня.

Он смотрел на стол очень внимательно. Потом наклонился и показал на черту, которую я провела вниз от траверса.

— Какой он? Жёлоб. Ширина, крутизна. Что над ним.

— Шагов двести в ширину наверху, — сказала я. — К низу шире. Крутой, как крыша у бани. Над тропой лес, но редкий, ели. Ниже тропы — голый, только камни торчат. А тропа идёт как раз по краю, где лес кончается.

— По краю леса, — повторил он. — Значит, она на стене жёлоба. Не в нём.

— На стене, — согласилась я. — Но с краю. Если жёлоб пойдёт, край заденет.

— Если он пойдёт с самого верха — заденет, — сказал

он. — Если оторвётся ниже тропы, тропа устоит. Это надо смотреть ногами. — Он помолчал. — Деревья на траверсе. Они прямые или кривые у корня?

Я не сразу поняла.

— Кривые, — сказала я. — Как сабли. Внизу изогнутые, а потом вверх.

— Значит, снег по ним ползёт каждую зиму, — сказал он. — Но не срывается, иначе деревьев бы не было. Это хорошо. Это значит, там держит.

Я посмотрела на него с уважением. Я пятнадцать лет назад видела эти кривые ели и думала, что их так скрючило от ветра. А он смотрел на угольную черту на кухонном столе и видел больше, чем я тогда глазами.

— Вы там не были, — сказала я. — А знаете.

— Я не знаю, — сказал он. — Я знаю снег. А гору знаете вы. — Он выпрямился. — Ваш охотник, Кай. Он ходил зимой наверх?

— Ходил, — сказала я. — За козлами. Он один в долине ходит туда зимой. Но он, знаете… — Я поискала слово. — Он не любит говорить. И не любит, когда к нему приходят.

— Мне не надо, чтобы он говорил, — сказал Ивар. — Мне надо, чтобы он показал.

— Сначала надо к нему дойти, — сказала я. — Брод через ручей у Студёного зимой не всегда держит.

— Значит, завтра пойдём смотреть брод.

В дверях кашлянули. Мы оба обернулись. Там стоял обоз-

ный старшина Эрик, рыжая борода, руки в карманах тулупа, и смотрел на стол.

— Это вы что, — спросил он, — дорогу ищете? Для саней?

— Для людей, — сказал Ивар.

— Как — для людей? — Эрик подошёл ближе, наклонился над мукой и углём. — А сани? А груз?

— Сани? — переспросила я. — По козьей тропе?

Эрик посмотрел на меня. Потом на Ивара. И я увидела, как у него под бородой, на шее, медленно краснеет кожа, будто ему туго затянули ворот.

— Груз компанейский, — сказал он. — Отчётный. Я за него головой отвечаю. Без груза мне на посту делать нечего.

— Без людей, — сказал Ивар ровно, — тебе на посту тоже делать нечего. Сначала люди, Эрик. Груз потом. Мы ещё не знаем, есть ли там дорога даже для людей.

Эрик постоял, пожевал губами и ушёл, не сказав больше ни слова. Ивар проводил его взглядом. Я заметила, что взгляд был нехороший — не злой, а пристальный, как у человека, который что-то пересчитывает в уме и у него не сходится.

Я стёрла стол мокрой тряпкой. Тора убрала муку. Тропа исчезла, будто её и не было, но я её помнила и он, кажется, тоже.

День был серый и тихий. Ночью подсыпало ещё, и снег во дворе лежал рыхлый, глубокий, и мужикам, которые возили

на санках валежник из ольшаника, приходилось торить дорогу каждый раз заново. У дровяника стучали топоры. Сырая ольха кололась плохо: топор вязнет, чурбак разлетается не вдоль, а вкось, щепа мокрая, пахнет кисло, как перебродивший квас. Мужики ругались. Командир стоял рядом и, как вчера, не колол, а распоряжался: этот чурбак сюда, тот на просушку под навес, вон тот на растопку.

Я была на кухне, когда во дворе стало тихо. Подошла к окну.

У дровяника стоял Аксель с топором на плече и что-то говорил командиру. Я не слышала слов, но видела лицо — злое, молодое, упрямое, как у телка, которому не дают пройти к воротам. Мужики вокруг молчали и слушали. Потом Аксель сказал что-то последнее, сплюнул в снег и протянул Ивару топор — топорищем вперёд, с вызовом.

Ивар посмотрел на топор. Потом расстегнул пряжку плаща — правой рукой, неловко — и сбросил плащ на поленницу. Под плащом на нём была тёмная шерстяная рубаха, и левое плечо было стянуто под ней чем-то тугим, так что рубаха на нём бугрилась. Он взял у Акселя топор. Правой рукой. Одной.

И стал колоть.

Колют двумя руками. Это знает всякий, кто хоть раз держал колун. Одной рукой можно тюкнуть щепу на растопку, но расколоть сырой ольховый чурбак одной рукой нельзя. Это мне так казалось. Ивар поставил чурбак, отступил на

полшага, коротко, без замаха, вскинул топор — и опустил его так, что чурбак разлетелся надвое с сухим треском, будто был не сырой ольхой, а сухой берёзой. Мужики охнули. Он поставил следующий. Ещё. Ещё.

Я стояла у окна и смотрела, как он колет. Он колол ровно, быстро, без лишнего движения, и я подумала, что это красиво — так, как бывает красива любая хорошая работа. И ещё подумала, что так колоть одной рукой нельзя. Не может так человек. Значит, он не только рукой. Значит, плечом, спиной, всем телом, а значит, и левым плечом тоже, тем, что под повязкой.

На восьмом чурбаке полено соскользнуло с колоды. Он, не думая, перехватил его левой рукой — инстинктивно, как ловят падающую чашку. И замер.

Это длилось полвздоха. Потом он отпустил полено, поставил его обратно и расколол. И ещё один. Но я уже видела.

Я видела, как у него на левом плече, под тёмной рубахой, медленно проступает пятно. Тёмное на тёмном. Его почти не было заметно. Если не знать, куда смотреть.

Я вытерла руки о передник, вышла во двор и подошла к дровянику. Мужики расступились. Ивар как раз поставил очередной чурбак. Я взялась за топорище — выше его руки, так, что он не мог замахнуться, не задев меня.

— Хватит, — сказала я.

Он посмотрел на меня. Лицо у него было белое, а над верхней губой выступил пот, хотя было холодно.

— Я не закончил.

— Закончили, — сказала я. — Аксель, бери топор. Ты хотел посмотреть, может ли командир колоть. Посмотрел. Может. Лучше тебя. Теперь коли сам. — Я забрала у Ивара топор и сунула Акселю. — А вы — со мной.

— Рада…

— В баню, — сказала я. — Сейчас.

Мужики смотрели. Тимофей в стороне, у навеса, крякнул. Ивар постоял, глядя на меня, потом молча подобрал свой плащ с поленницы и пошёл за мной.

Баня у меня стоит в глубине двора, у ручья. Топлена она была вчера, к вечеру, для женщин из обоза, и в предбаннике ещё держалось тепло. Я усадила его на лавку, зажгла лампу, принесла из дома чистое полотно, горшок с топлёным салом, отцовскую плошку с мазью из живицы и ковш горячей воды. Ивар сидел и смотрел на меня так, как смотрят на лекаря, которого не звали.

— Рубаху, — сказала я.

— Рада, это не…

— Командир, — сказала я, — я двенадцать лет держу постоялый двор. Ко мне привозили возниц, которых придавило санями, и охотников, которых подрал медведь, и одного купца, который сам себе прострелил ногу из пищали, когда хвастал. Я видела всё. Снимайте рубаху, или я её разрежу, а она у вас, я вижу, хорошая.

Он посмотрел на меня ещё секунду. Потом стянул рубаху

через голову — правой рукой, медленно, морщась.

Повязка на левом плече была старая, серая, стянутая так туго, что впилась в кожу. Под ней, когда я её размотала, был лубок: две тонкие дощечки, обмотанные кожей, вдоль лопатки и вдоль ключицы. А под лубком — рана. Не свежая. Старая, затянувшаяся рубцом, длинным, бугристым, от плеча через всю лопатку и вниз, к рёбрам, с узлами, как на плохо сшитом мешке. И посреди этого рубца, у самого края лопатки, — свежая трещина, из которой и сочилось. Кость под ней — я это видела по тому, как выпирала лопатка, — срослась криво.

Я ничего не сказала. Промыла горячей водой, смазала живицей, наложила чистое полотно. Он сидел неподвижно, только раз втянул воздух сквозь зубы, когда я задела край. Кожа у него была холодная. Не как у замёрзшего человека — холодная изнутри, как у камня в ручье, и я подумала, что у снежных драконов, наверное, всегда так.

— Это крыло, — сказала я. Не спросила.

— Крыло, — сказал он. — В человечьем облике — лопатка. Что ломаешь в одном, ломаешь в другом.

— Когда?

— В прошлом лютне.

— Его кто-нибудь лечил?

— Лекарь крыла. Сложил, поставил лубок. Сказал — месяц не двигаться, полгода не летать.

— А вы?

Он помолчал.

— Я двигался, — сказал он.

— И летали?

— Немного. Низко. — Он смотрел перед собой, на закопчённую стену предбанника. — Срослось криво. Длинный полёт крыло не держит. Над перевалом — складывается. Короткий — держит. Если низко и недалеко.

— А колоть одной рукой держит?

Он ничего не ответил, но угол рта у него снова дёрнулся.

Я затянула повязку — не так туго, как была, а как надо, чтобы держала, но не резала, — и подала ему рубаху.

— Слушайте меня, — сказала я. — Дрова колете не вы. Вы считаете поленья, складываете, распоряжаетесь, — это пожалуйста. Воду не носите. Сено не мечете. Лошадей не держите, когда их подковывают. Если я ещё раз увижу кровь у вас на рубахе, я напишу в вашу службу письмо, и пусть они там в Губе решают, нужен ли им командир с одной рукой. — Я помолчала. — Это не приказ. Это норма. У меня на дворе у каждого своя норма. У Торы — котлы. У Милоша — вода. У вас — голова. Головой вы, я вижу, работаете хорошо. Работайте ею.

Он натягивал рубаху и смотрел на меня из-под неё, как из-под низкой притолоки.

— Вы всегда так разговариваете с постояльцами? — спросил он.

— С теми, кто мне заплатил двадцать серебром из своего

кошеля, — сказала я, — всегда. Мне невыгодно, чтобы вы умерли до того, как заплатите вторые двадцать.

Он натянул рубаху до конца, и я увидела его лицо. Он улыбался. Не уголком рта — целиком. Коротко, будто сам себе не поверил, но улыбался, и от этого у него на мгновение исчезла та тугая, натянутая складка между бровей, которая, кажется, жила там всегда.

— Норма, — сказал он. — Хорошо. Принимаю.

— Вот и хорошо, — сказала я и стала собирать полотно. Руки у меня почему-то немного дрожали. Наверное, от горячей воды.

Когда мы вышли из бани, во дворе снова стучали топоры — Аксель колол сам и, судя по звуку, со злостью. Ивар пошёл к дровянику — считать. Я пошла на кухню. У крыльца меня догнал Милош, бледный, с вытаращенными глазами.

— Хозяйка! Там драконша! В конюшне! Упала!

Сигрид лежала на соломе в стойле у нашей кобылы, на боку, подтянув колени, и была опять синяя. Не так, как в первый вечер, — бледнее, — но губы у неё побелели, а пальцы, когда я их взяла, были как сосульки. Рядом стоял чугунок с распаренным овсом — Милош варил его для лошадей, — и я сразу поняла, что она сделала.

— Ты переносила тепло, — сказала я. — Из чугунка. В лошадей.

— Они мёрзнут, — прошептала Сигрид, не открывая глаз. — Рудничные. Они непривычные к перевалу. Вон тот, гне-

дой, дрожит со вчера. И у него живот…

— У него колики, — сказала я. — Ему не тепло нужно, а Милоша с бутылкой масла. Милош!

— Уже бегу, — сказал Милош и не побежал, а стоял и смотрел на Сигрид.

— Беги, — сказала я.

Он убежал. Я подхватила Сигрид под мышки — она была тяжёлая, крепкая, крупнее меня, — и кое-как поставила на ноги. Она висела на мне, как мокрый тулуп.

— Я дракон, — сказала она мне в ухо. — Это моя работа. Носить тепло.

— Здесь твоя работа — лежать и есть мёд, — сказала я. — Пока не встанешь на ноги сама. Пошли.

Мы шли через двор медленно, и на полпути Сигрид, отдышавшись, сказала мне вдруг, очень тихо:

— Вы командиру не говорите. Он меня убьёт.

— Он видел, как ты три дня держала сани, — сказала я. — И не убил.

— Это другое, — сказала Сигрид. — Это был приказ. А сейчас я сама. Он не любит, когда сами. С Волчьего Лога не любит.

— Что такое Волчий Лог?

Сигрид споткнулась, и мне пришлось остановиться, чтобы её удержать. Она посмотрела на меня мутными светлыми глазами, и мне показалось, что она уже жалеет, что сказала.

— Это где он крыло сломал, — сказала она. — Пусть он

сам. Если захочет. Он не захочет.

Я уложила её на свою кровать, напоила горячим, сунула ей в руки миску с мёдом и ушла. Ивару я ничего не сказала. Он, конечно, всё узнал через полчаса: в доме, где тридцать пять человек, ничего нельзя скрыть дольше получаса. Я видела, как он прошёл в мою комнату, и слышала через стену его голос — низкий, ровный — и её голос, виноватый. Не убил. Вышел через несколько минут, остановился у двери кухни и сказал мне, не входя:

— Спасибо.

— За что?

— Что уложили. Она меня не слушает. Вас, кажется, слушает.

— Меня все слушают, — сказала я. — У меня на дворе по-другому нельзя.

К вечеру Тимофей пришёл ко мне на кухню, сел на лавку у двери — с моего разрешения — и долго молчал, грея руки о кружку. Потом сказал:

— Задние сани, хозяйка. Копыл треснул.

— У меня кузнеца нет, — сказала я. — Кузнец в Ольховке. Милош может заклинить, если надо.

— Заклиню и сам, — сказал Тимофей. — Не в том дело. — Он посмотрел в кружку. — Я тридцать лет вожу. Я знаю, как сани стоят под каким грузом. Эти, задние, двое, стоят как под камнем. А в них, Эрик говорит, пробы и приборы. — Он отхлебнул. — Пробы — это в мешочках, по горсти.

Приборы — это ящички. Это не камень.

— Вы это командиру скажите, — сказала я.

— Командир и сам видит, — сказал Тимофей. — Он сегодня у задних саней стоял, когда ты его в баню водила, — до того стоял, — и рукой по полозу провёл. Как по снегу. Не знаю, что он там услышал. — Тимофей поставил кружку. — Я тебе это говорю, хозяйка, потому что ты тут хозяйка. Мне до Эриковых ящиков дела нет. А вот если по этой твоей козьей тропе эти сани потащат, я их не повезу. И лошадей не дам.

— Никто не говорит про сани на тропе, — сказала я.

— Эрик говорит, — сказал Тимофей. — Каждому, кто слушает.

Он ушёл. Я стояла у плиты и думала о том, что мне до Эриковых ящиков тоже нет дела. Груз компанейский, отчётный, пусть компания и разбирается. Моё дело — дрова, мука и чтобы никто не замёрз.

Только почему-то я весь вечер думала про эти ящики.

За ужином случилось то, чего я ждала со вчерашнего дня. Аксель, сидевший за общим столом с женой и годовалым на коленях, громко, на всю горницу, спросил:

— Командир. Можно вопрос?

Ивар стоял у стены, как обычно, в очереди за Тимофеем. Он кивнул.

— Хозяйка говорит — это вы в службе. Что служба вычеркнула этот двор из казённых. — Аксель обвёл всех глаза-

ми. — Мы тут сидим и платим. А могли бы — за счёт службы. Так почему служба вычеркнула? И почему вы за нас платите из своего? Это что — вы так совесть покупаете? Или за службу стыдно?

Стало тихо. Даже дети притихли. Я стояла у котла с половником и чувствовала, как у меня горят щёки: это я ему вчера подбросила, сдуру, со зла.

Ивар помолчал. Потом сказал — не громко, но так, что слышали все:

— Дворы из списка станций вычёркивает командование в Тёплой Губе. По донесениям командиров крыла. Я командир крыла. Я в этом листопаде писал донесения по шести дворам на этом участке. — Он посмотрел на Акселя. — Почему вычеркнули этот — я не знаю, мне не докладывают. Но если служба вычеркнула двор, а потом привела к нему обоз, — значит, платить службе. Я служба. Поэтому плачу я. Это не совесть, Аксель. Это порядок.

Аксель открыл рот, но жена дёрнула его за рукав, и он закрыл.

Я разливала суп и не смотрела на Ивара. Шесть дворов. В листопаде. По этому участку. Я сложила это в уме и не захотела досчитывать.

Когда все разошлись, он снова пришёл к кухонной двери. С пустой миской. Я её взяла.

— Вы сказали — шесть дворов, — сказала я.

— Шесть.

— Мой среди них?

Он долго молчал. Потом сказал:

— Не знаю. Я не помню их в лицо. Я видел их сверху. — Он помолчал ещё. — Я узнаю.

— Не надо, — сказала я. Сама не знаю, почему. — Это уже ничего не изменит.

Он посмотрел на меня так, будто хотел возразить. Не возразил.

— Завтра, — сказал он, — к броду. Ведёте вы. Я иду за вами.

— Вы же командир.

— До брода дорогу знаете вы, — сказал он. — Командир — это тот, кто знает дорогу. Завтра — вы.

Он ушёл. Я долго мыла его миску, хотя она была чистая.

Глава 4. Летняя тропа

Отцовские снегоступы висели в сенях на гвозде с тех пор, как его не стало. Я сняла их, стряхнула пыль, проверила ремни — один подгнил, пришлось менять на ходу, — и подумала, что отец бы надо мной посмеялся. Он ходил на них в Студёное к Агате торговать сено, а меня брал с собой, и я шла за ним след в след, как утёнок, и считала шаги. От нашего крыльца до Каменного брода было тысяча сто сорок моих детских шагов. Взрослых — я проверила однажды — семьсот двадцать.

Милош надел свои, плетённые из ивы, лёгкие и разлохмаченные. Ивар надел свои сапоги, и всё.

— Провалитесь, — сказала я.

— Не провалюсь, — сказал он.

— Снег рыхлый. По пояс.

— Я знаю, какой снег, — сказал он и пошёл к воротам.

Он не провалился. Я смотрела и не верила: он шёл по целине, по колено, местами выше, но там, где я в снегоступах проседала на ладонь, он проседал не больше, будто снег под ним уплотнялся сам. Милош шёпотом спросил у меня, как это. Я сказала, что не знаю. Ивар, не оборачиваясь, сказал:

— Холод держит холод. Снег под снежным драконом прихватывается. Немного. Не всегда.

— А если вы устали? — спросил Милош.

— Тогда проваливаюсь, как все, — сказал Ивар.

Мы пошли на запад, через ольшаник, к ручью. Было тихо, серо, морозно, градусов, на глаз, пятнадцать, и с хребта тянуло ровным сухим ветром, который не дует, а режет. Снег скрипел. У меня мёрзли щёки, а у Милоша покраснел нос. Ивар шёл впереди, без шапки, и я видела, что ветер треплет ему волосы, а ему всё равно. Снежные драконы холода не боятся. Это они его носят, а не он их.

Ручей у нас называется Студёный — оттого и хутор Студёное. Летом он неглубокий, по колено, быстрый и такой холодный, что ломит зубы, если напиться. Зимой он не замерзает целиком: под берегами нарастает лёд, а посередине течение держит тёмную полосу открытой воды, курящуюся паром на морозе. Через него два брода: нижний, у самого хутора, и верхний, Каменный, — там по дну лежат большие плоские камни, и летом можно перейти посуху, прыгая с одного на другой.

Мы вышли к нижнему броду. Отсюда уже был виден хутор: три крыши за ручьём, на пригорке, под засыпанными елями, и три дымка над ними. В крайнем дворе залаяла собака.

Ивар остановился у самой воды, присел и положил ладонь на лёд у берега. Подержал. Потом передвинул ладонь дальше, туда, где лёд был тоньше и серее. Подержал. Снял руку.

— У берега держит, — сказал он. — Дальше — нет. Те-

чение подмыло снизу. Сверху лёд, под ним пусто, под пустотой вода. Человек пройдёт, если лёгкий и быстро. Лошадь — нет. Сани — нет.

— Нижним бродом зимой не ходят, — сказала я. — Ходят Каменным. Там течение слабее, и камни держат лёд.

— Ведите.

Я повела. Вверх по ручью, вдоль берега, через кусты, шагов на триста. Я шла и смотрела не на снег, а на то, что из-под него торчало: макушки ивняка, старый кол от изгороди, кривую берёзу, расщеплённую молнией, — это всё были отцовские приметы, и я их помнила. У берёзы ручей делает поворот, и сразу за поворотом — Каменный брод.

Камни были под снегом. Я знала, где они: первый — у самого берега, плоский, как стол; второй — в двух шагах, повыше; третий — посредине, большой, круглый, мы его звали Лысый. От Лысого до того берега ещё три, поменьше. Снег на них лежал шапками, и между шапками чернела вода.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.